

## Адам и Мирьям

Дина Рубина

Земную жизнь пройдя до половины... да что там! — давно перевалив эту умозрительную вершину, я научилась водить автомобиль. Сдала экзамен на права и еще месяца три по здешним законам ездила «с сопровождением», то есть с собственным мужем, человеком педантичным и обстоятельным, с брезгливой гримасой наблюдавшим за моей суетливостью новичка. Черт-те что я вытворяла первое время, то и дело вскипая, бросая руль, наваливаясь на него в испуге. Но в некий прекрасный день — промозглое и омерзительное февральское утро — я наконец оказалась одна в этом домике на колесах, в этом батискафе с рулем, в этом сухопутном корабле, где вдруг ощутила себя полновластным капитаном собственной жизни...

Нет, все это не передает..., не может описать чувство упоительной... ага, уже ближе... дело в том, что я вдруг вспомнила подростковую украденную свободу, какая овладевала мной, если вместо уроков я сбегала в зоопарк, или садилась в пригородную электричку и, выйдя на станции Чирчик, шлялась до вечера по окрестным

полям и бахчам совершенно одна. Вот нечто такое испытала я, когда впервые оказалась одна за рулем, со всех сторон укрытая панцирем машины, всевластно свободная в направлении движения и мыслей...

Шел сильный дождь. Иерусалимский камень, которым облицованы дома и замощены тротуары, в солнечные дни впитывает воздушный жар, а к вечеру отдает его, излучая сахарное свечение, поэтому город приподнимается и дышит, как грудь спокойно спящего на рассвете... Но этот же камень в зимние темные дни непроницаемо тверд и угрюм. Резкий ветер гонит вдоль тротуаров бытовой мусор окрестной жизни, повсюду валяются вороны тушки сломанных зонтов, бессильных против горного ветра, и тускло отсвечивают на головах обитателей религиозных кварталов мокрые полиэтиленовые мешки, в которые они оборачивают свои недешевые шляпы.

Я запустила «дворники», и когда с монотонным шарканьем они смахнули с лобового стекла водяную пелену, успокаивая и даря вольным одиночеством, столь мною любимым, я ощутила

полную отгороженность от мира и — свободу, юную украденную свободу...

Я сразу успокоилась и поняла, что со временем буду уверенно и элегантно водить эту колымагу.

Почему бы не податься куда-нибудь... — думала я, медленно отъезжая от центральной автобусной станции, к которой только что подвезла дочь. — Скажем, поехать к Васо и Манане, похлебать грибного супчику... Да, вот именно, и очень кстати: горячего грибного супу!

Перестраиваясь с правой полосы в левую, чтобы развернуться на светофоре, краем глаза сквозь запотевшее боковое стекло я заметила пожилую даму на тротуаре. Она пыталась открыть зонт, который явно заклинило. Дождь свободно заливал ее синее пальто, почти уже черное от воды, шляпка тирольского фасона уныло сбилась набок...

Я развернулась и подкатила к ней, «подрезав» при этом белую «хонду», возопившую вслед резким протяжным гудком.

— Садитесь!

Дама наклонилась к открытой дверце, вгляделась в меня. Вот теперь стало видно, что она уже старая, пожалуй, к восьмидесяти, — издали ее молодила худощавая и довольно прямая фигура в модном пальто, а также эта ухарская шляпка; но вблизи глубокие морщины откровенно являли возраст. Глаза, впрочем, смотрели цепко и даже насмешливо под высоко наведенными бровями. Вообще вблизи она не казалась такой беспомощной. И чего я всегда лезу, куда меня не просят...

— Но... куда вы едете?

— Неважно, я подвезу вас.— Мне неловко, — сказала она. — Я вся мокрая...

— Да садитесь же, черт возьми, этой рухляди ничего уже не повредит.

Она кивнула и устроилась на заднем сиденье.

Мы поехали. Со всех сторон мне сигналили нервные местные автомобилисты. Я кого-то подсекала, внезапно перестраивалась перед светофором, обнаружив, что еду не по той полосе... Мне сейчас явно не хватало моего «сопровождения» справа с его раздраженными

окликами: «Ну куда ж ты-и-и?!», и «А ну-ка сбавь!», и «Красный, красный, сто-о-о-п!»... Да и ливень в Иерусалиме означает не то чтобы катастрофу, но все же явное дорожное напряжение. Горки у нас, крутые повороты, узкие улицы... а тут еще я, балда стоеросовая, неумелая и наглая...

— Так куда вам все-таки? — Я взглянула в зеркало заднего обзора. Старая дама глядела в окно с детской заинтересованностью, будто ей было абсолютно все равно, куда ее везут, лишь бы ехать.

— Мне все равно, — тут же и подтвердила она мое впечатление. — А у вас русский акцент. Вы из России?

— Да... Но все же я не могу бесконечно кружить по улицам! Я сегодня впервые за рулем одна.

— Я вижу. — Она перешла на русский. — Вы ужасно водите, но очень отважно... Не знаю, наверное, мне надо вернуться в отель, ничего другого не остается. Это недалеко, на площади Сиона...

У нее тоже был небольшой акцент, я не могла понять, какой — похоже, американский.

— Но вы для чего-то же выехали в город?

— Да... но встреча сорвалась... Меня должен был забрать отсюда в Реховот сын моего мужа... Он хотел показать мне его могилу...

Я чуть не клюнула и без того помятую «шкоду», резко надавив на тормоз.

— Могилу... чью могилу? — И опять взглянула на нее в зеркало. Все то же отрешенное лицо старухи и тот же при этом молодо-цепкий взгляд в окно.

— Мужа моего...

Повисла пауза. Ну что ж, возраст у нее почтенный... Всяко может произойти с памятью...

— А вы... вы что, забыли, где он похоронен? — осторожно спросила я.

— Я никогда не была на его могиле, — сказала она просто. — Ну и, выходит, не суждено... Завтра уезжать... Неважно, все это неинтересно... — Она досадливо поморщилась. — Но мне сегодня абсолютно нечего делать.

Дали зеленый... поехали... Странная старуха, подумалось мне. Явно заговаривается... Хотя ей не шло это слово — старуха. Все-таки она

оставалась именно дамой, старой элегантной дамой...

Между тем я приняла некое решение:

— Вы завтракали?

— Я не ем так рано...

— Но сейчас уже двенадцать. Послушайте... День у вас насмарку, вы промокли, зонтик явно сломан, в отеле скучно... А у Мананы и Васо подают отличный грибной супец в глиняном горшке.

Мы находились уже в пяти минутах ходьбы от харчевни, следовало куда-нибудь приткнуться. Я только начала осваивать эту смешную привязанность к своей машине, которую невозможно бросить абы где... И вдруг увидела отличное место для парковки! Это дождь сделал мне подарок. Отыскать среди дня в центре Иерусалима клочок асфальта с муниципальным прожорливым счетчиком — нужна невероятная везучесть.

Я алчно устремилась к добыче, сигналив впрок и распугивая всех вокруг, дабы никто не покусился... Сосредоточилась и стала совершать выученные на уроках вождения эти хитроумные штуки с реверсом. Переключала, крутила руль на

пол-оборота... потом на полный оборот в другую сторону... Ничего не выходило! Машина вкатывалась задом в тесноватое пространство и в ровном ряду автомобилей вставала, как кривой зуб в челюсти. Я выезжала вновь, загоняла ее носом к тротуару, и тогда на дорогу высовывалась ее пухлая задница, словно ожидая и даже упрашивая, чтобы кто-то поблагородней дал ей хорошего пенделя.

— Хотите, я? — предложила вдруг моя пассажирка. Она с любопытством следила за этими беспомощными выкрутасами.

— Давайте!

Я вышла, она пересела на водительское место, и — как во сне, я не поверила своим глазам! — тремя поворотами руля, совершенными одной рукой, вернее, одной ладонью, вогнала машину точнехонько в тесное гнездо между серой «даятсу-апплауз» и синим «фордом».

— Черт побери! — ахнула я, забирая ключ. — Вот это да. Сколько же лет вы за рулем?

Она засмеялась, поднимая воротник пальто:

— Совсем немножко. Сорок пять...



Я раскрыла над нами зонт и взяла ее под руку; мы тесно прижались, набычились против хлеставших струй, и за три минуты — по мокрым плитам тротуара, через знакомую подворотню и цепочку проходных дворов, то поднимаясь, то спускаясь на несколько ступеней, — добрались до нужного переулка. Мне даже не пришлось сбавить шага — старая дама довольно легко поспешала на немаленьких каблуках, излишних, на мой взгляд, в этой гористой местности.

Я опасалась, что мои грузины еще отсыпаются после какого-нибудь вчерашнего пиршества, но железная калитка во двор была отворена.

— Сюда... — Пропустила ее вперед. Придерживая на затылке свою легкомысленную шляпку, она задрала голову и стала рассматривать типично иерусалимский дворик, мощеный ноздреватыми плитами все того же местного камня. От калитки до двери в полуподвал арками шли над головой металлические перекрытия, оплетенные черными от дождя виноградными сухожилиями. На одной из ветвей скукожилась забытая гроздь, какую у нас в Ташкенте называли «заизюмленной».

Весь этот старый двухэтажный дом, настоящий иерусалимский дом мощной каменной кладки, с арочными сводами притолок и тяжелыми

деревянными дверьми, с огромной плоской крышей — летними вечерами живой и заполненной до отказа, — Васо и Манана уже много лет снимали под ресторан.

На террасу второго этажа винтом взлетала наружная лестница.

— Нет-нет, вот сюда... вниз... осторожней, тут ступени...

Дверь в полуподвал была приотворена, и оттуда тихо звучала традиционная трехголосная «а капелла», грузинский мужской хорал, прекрасней которого я мало что знаю на свете.

Внутри было безлюдно и полутемно — видать, только что открылись; тусклыми желтыми полукружьями светились бра на каменных стенах, завешанных коврами, бурдюками, постерами с вывесок Пиросмани; на глубоком метровом подоконнике узкогорлой шеренгой вытянулись кувшины с грузинским вином... Не очень большая комната — шесть столов, покрытых сельскими дерюжками. Стиль — грузинский духан.

— О, здесь очень мило... — сказала дама, расстегивая пальто. И опять удивила меня — под пальто на ней оказался молодежный свитерок на молнии, из тех, дешевых, которые в этом году

расхватывали подростки. Моя дочь тоже купила два таких и носила их попеременно, не снимая.

Кроме того, она оказалась худа, но не старушечьей костлявой худобой, а просто худощава и длиннонога. Брюки — на бедрах — тоже явно куплены были в том же магазине молодежной моды.

Я отвела глаза и весело подумала, что оригинальная бабулька своим неожиданным прикидом уже отработала суп, которым я собралась ее угостить.

Я была здесь своей, в том смысле, что частенько приходила сюда с гостями — друзьями, знакомыми, заглядывала с мужем или одна, если надо было перекантоваться час-другой между встречами; перепробовала все чудеса их скатерти-самобранки, но предпочитала несколько блюд, всегда отменных.

Манана готовила сама, никому не доверяла.

Из коридора шесть узких и крутых ступеней вели в кухню, где было, наоборот, очень светло, уже что-то гремело, звякало, скворчало и раздавались голоса... Я поднялась туда и увидела Манану и одну из официанток, Ольгу, по-утреннему замедленную... Манана, крашенная блондинка,

большая и плавная, как почти все массивные люди, источала неторопливую благодать и добросердечие; она курила, сидя у полукруглого окна, закинув ногу на ногу. Под мощными лампами дневного света ее голые колени светились двумя ослепительными белыми шарами... При виде меня Манана улыбнулась и широко повела рукой с сигаретой, то ли здороваясь, то ли благословляя, то ли приглашая в дом... Ольга же — на мое «...внизу и с гостьей!» — сразу принялась заваривать ягодный чай, мой любимый, который заказываю обычно еще до всяких блюд.

Пока я отсутствовала, моя попутчица сняла и шляпку, и оказалась с короткой мальчишеской стрижкой, вернее, абсолютно седым ежиком. Спускаясь по ступеням, я увидела этот серебристый хрупкий затылок и только мгновение спустя поняла, что он принадлежит моей старой даме.

Она сидела за столом спиной к ступеням и боком к единственному окну, выходящему во дворик вровень с землей, от чего за стеклом иногда возникала трехцветная кошка, полудомашняя. Летом, случалось, эта наглая животина

впрыгивала через окно прямо на стол. Обстановка здесь была самая свойская..

По углам в каменных нишах под сводчатым беленым потолком были спрятаны динамики. И после короткой паузы над нашими головами зазвучала «Шен хар венахи», как всегда — волной глубокой и благодатной грусти. Два верхних солирующих голоса выплетали прихотливый орнамент на фоне протяжного баса, что тесными шажками полутонов переступал вверх и вниз по ступеням мелодии...

— Меня зовут Мирьям, — сказала дама.

Я тоже назвалась.

— Хотите, расскажу о районе, где мы находимся? — предложила я. — Он называется Нахалат-Шивъа, это один из самых старых...

— Не надо, — остановила меня Мирьям и улыбнулась. — Я прожила в Иерусалиме изрядную часть жизни и с этим районом знакома... Знаете, что раньше было в этом подвале? Здесь много лет сидел Пабло, старик из Уругвая... Чинил и настраивал музыкальные инструменты... Конечно, он давно умер. Но мне приятно, что эти старые камни до сих пор слушают музыку... Григорианский хорал, да?

— Нет... — сказала я. — Это грузинское хоровое пение, «Шен хар венахи», знаменитая старинная песня...

— Вы хорошо знаете грузинскую музыку?

— Нет, просто один из этих голосов... высокий такой, слышите, он как бы оплетает полутонами мелодию второго тенора... это голос Васила, хозяина заведения... Он до приезда в Иерусалим пел в фольклорном ансамбле... А я столько супов здесь выхлебала, что научилась слышать голос Васо отдельно ото всех.

— И о чем же он поет?

— Это на старогрузинском... Мне Васо переводил... постараюсь вспомнить... Ну, если приблизительно... скажем, так:

«Ты — виноградник, что вновь расцвел,  
юный, добрый, прекрасный, посажен в Эдеме —  
благоуханный плод, возвращенный в раю...»... —  
что-то в этом роде...

— Красиво... — задумчиво проговорила она. — Как? Благоуханный плод? Возвращенный в раю?.. В раю... Красиво... Это, конечно, о женщине...

— О женщине, — согласилась я... — Или о Боге...

Мирьям внимательно оглядела накрытые льняными скатертями грубые деревенские столы...

— Не думала, что так ясно вспомню Пабло... Он был маленький, живчик... Вон там, в углу, стояли клавикорды, два клавесина, по стенам развешаны скрипки, две-три гитары, мандолина, старинная лютня... Здесь даже барочная скрипка была и виола да гамба — чего только ни приплывало в пустынную Палестину! И на столах у той вон стены рядком лежало столько разных диковинных дудок, свирелей, бубнов, трещоток... По этому хламу вполне можно было изучать историю музыкальных инструментов народов всей земли... Мы сюда иногда заходили с мужем... У него были потрясающие способности к музыке, он сразу начинал играть на любом инструменте, даже на таком, который впервые видел...

— Это звучит несколько... фантастично, — заметила я.

— Да-да! — живо отозвалась она. — Однажды в юности это спасло его. В гетто. Герр Менцель, комендант, был страстным меломаном и довольно хорошим флейтистом. Он услышал, как

Адам играет на мандолине, и приказал являться на репетиции квартета, который организовал там, в гетто. Но партии мандолины не было в нотах, которые имел герр Менцель, поэтому Адаму пришлось освоить скрипку.

Явилась Ольга с *партитурами* меню. Она несла их, обнимая и прижимая к животу, как студенты консерватории носят ноты на репетициях.

Мирьям раскрыла твердые коричневые створы, побежала взглядом по кудрявым строчкам, набранным псевдо-грузинским шрифтом.

— Послушайте моего совета, — сказала я, накрыв ладонью ее крапчатую старческую руку. — Здешний грибной суп, да еще в такой ливень, может поистине украсить жизнь двум бродяжкам, вроде нас с вами.

Она засмеялась, захлопнула меню и откинулась к высокой спинке стула:

— Идет! Но и выпить что-нибудь, непременно...

Некоторое время при участии заинтересованной Ольги мы выбирали между изабеллой и киндзмараули... трижды склонялись в ту и дважды в другую сторону. В конце концов остановились на хванчкаре



— Я раскрою ваш зонт на кухне, чтобы высох, — сказала Ольга. Затем принесла чайник и две чашки, разложила салфетки... Когда она ушла, я выждала несколько мгновений, несколько тактов мужественно звучащего хора, чтобы не обнаружить так скоро мой гончий интерес к новому собеседнику, жадный голый интерес, которого я вечно стыжусь и не могу преодолеть...

— О каком гетто вы упомянули? — осторожно спросила я.

— О Гродненском, — ответила она и потянулась налить себе чаю из чайника.

Прозрачная пунцовая струя заполнила ее высокий стакан, который мгновенно запотел, вытолкнув на поверхность сушеные мячики ежевики, смородины и голубики...

— О-о... какой интересный букет... — Она с удовольствием вдохнула пар над стаканом. — Все ароматы леса — как в рекламе!

Нам принесли по бокалу хванчкары — вина чуть более терпкого, чем мне нравится, из тех, что длятся долгим шершавым эхом после глотка где-то в глубине нёба.

Мирьям попробовала, одобрительно кивнула:

— Недурно... немного похоже на кьянти... — И приподняла бокал: — За очарование случайных встреч!

Я пригубила вино и благоразумно отставила бокал в сторону Все же за рулем, да еще первый день, одна...

— И ваш муж... выжил в гетто, потому что играл на разных инструментах?

Она усмехнулась, ее морщинистое лицо под седым ежиком волос засветилось каким-то клоунским лукавством.

— О, нет... Адам был не из тех, кто стал бы полагаться на немецкую страсть к музыке... Если б вы знали Адама, вы бы не задали такого идиотского вопроса... К тому же, он тогда не был мне никаким мужем. Нам вообще было едва по шестнадцать лет... Такие местечковые Ромео и Джульетта, влюбленные до судорог и не смеющие прижаться друг к другу поосновательней...

— Как! Значит, и вы в то время были в гетто?

— О боже, — вздохнула она, — что вас так удивляет? В то время все евреи в тех местах были если не в армии, то в гетто, в лагерях, либо уже гнили в ямах...

Я вспомнила ее странное заявление о могиле мужа и решила на всякий случай промолчать.

— Но эти музыкальные экзерсисы с герром Менцелем дали ему время. Время, понимаете? Самое важное, самое драгоценное: время. Потому что музыкантов тогда еще не увозили. Днем он музицировал на скрипке, а ночью рыл подкоп из заброшенной кузни... Она была очень удачно расположена — впритык к забору, на отшибе... И знаете, что было самым трудным?

Она усмешливо глянула на меня, словно ожидая вопроса. И сразу же ответила:

— Самым трудным было перед репетициями отчистить ногти. У музыканта руки на виду и не должны вызывать подозрений...

Явилась Ольга с подносом традиционных бесплатных салатов «от дома», принялась расставлять керамические мисочки с зеленью, лобью, баклажанами с чесноком... Положила на угол стола деревянную доску с лавашем.

— Осторожно, только из печки! — предупредила она.

Но мы обе немедленно потянулись к источнику благоуханного горячего воздуха и, обжигаясь и

дую на пальцы, оторвали по хорошему куску... Несколько мгновений моя гостья только охала, широко раскрывая рот и ладонью загоняя туда воздух.

— Не увлекайтесь, — предупредила я. — Помните о главном!.. Минут через двадцать грядет божественный суп в окружении грибных ангелов...

— У нас под Гродно были роскошные грибные леса... А что это они поют все время одну и ту же песню?

— Ну что вы... Это уже другая, «Гапринди, шаво мерцхало»... Слышите? Они замирают, сходят на *pianissimo*... и вдруг тоска вспыхивает, как пламя в очаге...

— Вот и Адам всегда называл меня глухарем и не понимал, как это можно одну мелодию спутать с другой...

— Вы бежали вместе с ним через подкоп, — сказала я утвердительно.

Она покачала головой, опять таинственно усмехнулась, погрозила мне пальцем:

— Вы хотите пролистнуть половину моей жизни и заглянуть в конец... Нет. Я не бежала с ним... Да, Адам пришел за мной ночью и просил, чтобы я ничего не брала с собой, ничего, шла так, как стояла, — в одной рубашке. Там, на другой стороне, нас должен был ждать с какими-то вещами Федя, сын кузнеца, дружок Адама... Но... мама сказала папе: как так, он еще не просил ее руки, не сватался, не говорил с нами! Нет, Мирьям — девушка из хорошей семьи, а не шлюха какая-нибудь! Она не побежит за ним в одной рубашке!.. Мама всегда была у нас очень... как это сейчас говорят... авторитарной. Это она настояла, чтобы папа согласился войти в юденрат... ей казалось, что так она спасет всю семью... Я видела по папиному лицу, что он не прочь меня отпустить, и я рыдала и билась, как связанная овца... Но ничего мне не помогло... Сейчас даже странно — как это я не убежала с ним... Так просто: повернуться, схватить его за руку и убежать... Иногда просыпаюсь ночами и представляю, как отворачиваюсь от мамы, хватаю Адама за руку и мы бежим, бежим, бежим!.. Я отворачиваюсь, и мы бежим!.. Отворачиваюсь... и — бежим!.. Но тогда я и вправду была хорошей дочерью. Я только плакала, горько плакала... И Адам стоял бледный как смерть и смотрел на меня такими глазами, будто хотел этими глазами

унести меня с собой. А мама была — кремень. К тому же она боялась, что мой плач разбудит всех вокруг, и велела Адаму убираться... Он повернулся, ударил кулаком по двери и ушел... И все... И больше я не видела его... До самой смерти.

Из кухни показалась Ольга с подносом, на котором курились две маленькие Фудзиямы...

Я обескураженно глядела в рассеянное лицо старой, явно безумной женщины, перепутавшей все нити своей судьбы: гетто, смерть мальчика, которого она упорно называла мужем, но никогда не была на его могиле, их, очевидно, загробную жизнь в Иерусалиме и даже этот полуподвал со старым музыкальным мастером, возможно, придуманным ею по ходу дела...

Полная чехарда в ее голове с ежиком серебристых волос и меня привела в смятение. Сейчас я уже не знала, как пристойней завершить это случайное знакомство. Да и смирная ли она? А вдруг она подвержена приступам?

Мирьям блаженно склонилась над горшочком, окунула лицо в жемчужный пар, замерла с прикрытыми глазами...

— Боже... — проговорила она. — Что за упоительный запах... Настоящий грибной суп!

Вздохнула и взялась за ложку...

Вновь с крутых беленых небес грянул хорал запредельной любовью, тенор вился, ласкался к басам — то ли прощение вымаливал, то ли пытался удержать ускользающую радость: «Добрый, прекрасный, юный... Благоуханный плод, возвращенный в раю...»

— И больше я его не видела до самой своей могилы, — проговорила она вполне деловым тоном.

Я окоченела. Подумала, не попросить ли Ольгу сменить хорал на что-нибудь легкое, из европейской эстрады... Мягко и сочувственно проговорила:

— Понимаю вас...

— Ни черта вы не понимаете, конечно, — спокойно отозвалась она, прихлебывая с ложки с таким аппетитом, таким здоровым удовольствием на морщинистом лице, что вся эта картина показалась мне ошибкой звукооператора, записавшего на бытовой зрительный ряд текст из

совсем другой, трагической и безумной киноленты...

— Главное, я сама не понимаю, к чему вам вся эта история. — Она подняла брови, когда-то наверняка длинные и густые, ныне тщательно реставрированные черным карандашом. — И с чего это меня сегодня так развезло... Не с бокала же вина... Если б вы знали, сколько я могу выпить без всякого ущерба госдепартаменту! — И постукала согнутым пальцем по собственному черепу. Ее морщинистая щека смешно, по-детски оттопыривалась справа непрожеванным куском лаваша. — Видели бы вы, сколько выпивали мы с Адамом за вечер в одном ресторанчике в Бергамо... Мы любили там бывать, у синьора Марчелло... Раз восемь приезжали. Если уж есть рай на земле, доложу я вам, то он расположен как раз в Бергамо, на вершине холма, в Старом городе... Здесь можно курить, как вы думаете?

Вот этого еще моей астме нехватало — чтобы меня обкурила до приступа старая сумасшедшая приبلуда... Я выразительно замялась, как делаю всегда — чуткий курильщик понимает и смущается, — но она уже достала пачку сигарет, зажигалку... Закурила...



— Ладно. — Она длинно выдохнула, разгоняя ладонью дым. — Вот вам история Адама... Он не любил ее рассказывать, о многом, как понимаю сейчас, умолчал. Никогда не отвечал на мои прямые вопросы, а я сразу умолкала, когда видела на его лице это выражение... знаете, бесконечной усталости... безысходности... не знаю, как сказать точнее, но чувствовала этот миг печенками! А потом... после... ну, когда он исчез окончательно, я обнаружила, что его история похожа на брюссельские кружева — дырки, дырки и сплетения множества нитей... Так вот, он ушел через подкоп и с Федей бежал к партизанам. Но сначала его не принимали в отряд, прогоняли — на черта ты нам, говорили, сопля жидовская, даже оружия у тебя нет... И вот дальше — дырка, очередной узор в кружеве... Как он добыл оружие — не знаю. Вроде бы выследил немца... С полгода сражался в отряде и никогда не знал, с какой стороны следует больше бояться пули...

Потом пробрался в Польшу, оттуда — во Францию... Там несколько месяцев воевал в одном из отрядов Сопротивления и... ну, это опять некая дырка в кружевах, только с тех пор он не любил французов и называл их говнюками... А, вспомнила: однажды, говорит, я оглянулся вокруг и удивился — почему в нашем отряде есть кто

угодно — поляки, армяне, евреи, украинцы, чехи... и так мало французов? И с чего это, подумал, я голову кладу за то, чтоб одних говнюков избавить от других говнюков?.. Потом он рассказывал еще кое-что: вроде, спустя много лет те, кто выжили после расстрелов, свидетельствовали о случаях, когда команда «пли!» раздавалась по-французски... Говорил, что была такая дивизия в СС под названием «Викинг», формировалась она в Норвегии, но входили в нее добровольцы из разных стран, то ли покоренные мечтой фюрера, то ли в стремлении к наживе... Эта вечная грязная накипь народов, знаете... жажда крестовых походов, не важно в каком направлении... Так вот, в составе этой дивизии, говорил он, было много французов... Лично я считаю, что подонков хватает у кого угодно, только Адам к этому относился иначе. В этом он был непримирим! Говорил — они своим женщинам головы, головы за связь с немцами брили, вместо того, чтоб у них прощения просить, вояки херовы! Знаете, он потом и в Париже — в Париже! — не любил бывать... А я так люблю Париж... это были вечные семейные скандалы...

Так вот, он решил пробираться в Эрец-Исраэль. Уж погибнуть, говорил, так за своих... Но еще на

несколько лет застрял в Европе: в составе этих секретных групп разыскивал и собирал тех, кто спасся из нацистских лагерей, и переправлял их в Эрец-Исраэль на латаных суденышках... Кстати, многие пробирались пешим ходом — через Румынию, Польшу... Вам известно, что с сорок четвертого по сорок восьмой год «Бриха» переправила порядка двухсот пятидесяти тысяч евреев в Палестину? Тебя я даже не высматривал, говорит Адам, знал, что погибла вся семья... И это было правдой... Ну, а потом, когда в сорок восьмом Израиль был провозглашен и сюда хлынули со всех границ сразу пять армий, он воевал здесь... Вы видели, конечно, останки грузовиков, что выставлены вдоль шоссе на Тель-Авив? Их называли «сэндвичи», потому что фанеру обшивали на живульку листами железа... Вот в таком «сэндвиче» Адам возил продовольствие в осажденный Иерусалим... И в Шестидневную воевал, конечно, тоже... Раза три был ранен... А в перерыве успел закончить университет, потом аспирантуру... Адам был выдающимся биологом, это между прочим, профессором в институте Вайцмана, заведующим лабораторией... Ну, а в Войну Судного дня воевал уже его сын Гидеон. Гиди хороший мальчик, сейчас ему пятьдесят пять, у нас вполне приятельские отношения... Вот как раз он и

должен был сегодня меня встретить и доказать, что Адам не бросил меня, не смылся к какой-нибудь курве, а лежит как приличный человек в приличном месте... Но Гиди приболел... Сердце у него пошаливает... Надо делать «центур», я уговариваю, а он все тянет...

Из кухни выглянула Ольга — проверяла, не забрать ли пустую посуду, но я взглядом остановила ее, чуть качнув головой. Она молча показала руками — ничего, мол, больше? И так же молча я кивнула на опустевший чайник.

За окном, вровень с нашим столом, возникла кошка. Уселась, уставилась на нас не мигая...

— Мирьям... — проговорила я... — можно я задам вопрос наконец?

— Не надо. — Она загасила сигарету в пепельнице. — Понимаю, о чем вы хотите спросить. Я все расскажу... Знаете, впервые я рассказывала эту историю спустя тридцать лет после расстрела сотруднику музея «Яд ва-Шем». Он был наш хороший приятель и настоял... Тогда у них только закладывали Аллею Праведников, где сажали деревья в честь людей, которые не боялись спасти евреев в том аду... И он уговорил меня, что я должна совершить этот шаг...

преодолеть себя... оставить память, сви-де-тель-ство!.. Потому что я свидетель. Я говорила ему: я не свидетель, нет, я покойник... я —дохлятина... Вот тогда мне было худо, в первый раз... Я выталкивала слова из самого нутра, а они не поддавались... Это было похоже на то, как долбят каменистую почву, или песчаную, лесную, всю прошитую корнями деревьев... Да-да... я выталкивала из себя слова, и перед глазами у меня был папа, как он хекал и всаживал лопату в лесную песчаную почву, а она не поддавалась, и он все хекал и бил по корням, и копал, копал нашу могилу... Вот тогда было страшно говорить, вытаскивать это из себя, из земли — на свет божий... Я стала задыхаться, и Адам оборвал интервью, прижал меня к себе и велел нашему приятелю уходить, катиться куда подальше со своей Аллеей Праведников... Но прошли годы... и с тех пор я уже столько раз повторяла этот рассказ самым разным людям, журналистам, ученым, даже на каких-то симпозиумах, где регулярно пытаются осмыслить этот непроизносимый кошмар, который они называют Катастрофой... У меня уже давно это выстроилось в такой, знаете, фильм... тяжелый, ужасный, но сто раз виданный... И не про меня. Я привыкла. Уже не чувствую, что рассказываю о себе... — Она судорожно затянулась последним

дымом, со странной гримасой раздавила в пепельнице червячок сигареты и оживленно предложила: — Давайте-ка я так и стану говорить: *она*. Ладно? *Она, ее, его, их...* В хорошем рассказе нужна некоторая отчужденность рассказчика, не правда ли?

Ольга, улыбаясь, вынесла новый чайник с ягодным отваром.

— Как сегодня наш супчик? — спросила она, собирая посуду. — Понравился?

Ей никто не ответил.

Кошка за стеклом заметалась, пытаясь открыть лапой створку окна. Не могла смириться с зимой...

Мирьям закурила очередную сигарету, я же молча и тяжело смотрела на нее, вдыхая отравный дым и зная, что ночью буду задыхаться так же, как она, впервые рассказывая свою историю...

— Так вот, когда *их* выгнали на поляну и *они* увидели ямы, раздался вой, нечеловеческий звериный вой... Ямы копали мужчины, их для этого согнали раньше... *Она* увидела отца, который продолжал копать последнюю яму... Вокруг стояли полицаи и

солдаты с ружьями, герр Менцель тут же, но в стороне... Наверное, этот вой звучал для него, истинного меломана, страшным диссонансом. — Она усмехнулась. — Можно только вообразить, какие он испытывал муки... А затем... затем приказали раздеваться и складывать одежду поодаль, в кучу. И с той минуты все происходящее долетало до нее — мы договорились, правда? — до нее... таким, знаете, нереальным эхом ночного кошмара. Потому что ведь этого не могло происходить на самом деле, при свете дня... Не могло! Она видела, как солдат брезгливо поддел штыком носочек на ножке Ицика, ее трехлетнего брата, показывая, что надо снять, и Ицик спросил: «Мама, что, будем купаться? Холодно же...»

Все тонуло в душераздирающем вопле, небо, деревья, поляна с глубокими ямами... И этот вопль стихал и стихал под ударами прикладов, под хруст костей... Видно, сначала был приказ беречь патроны... Потом это стало невозможно, они бы просто не *управились*... Началась беспорядочная стрельба, потому что люди заметались по поляне... Взрослые пытались спасти детей, как-то спрятать их... но поляна была такой большой и голой... И те, с ружьями... стали просто оглушать детей и швырять их в ямы... Знаете, что встряхнуло ее, уже послушно

раздетую до рубашки, что как-то разом очистило ее зрение от пелены, оголило память, сознание до последней, пронзительной наготы бытия? — звонкий детский крик из ямы: «Папа, не сыпь мне песок в глазки!..»

Отец, вероятно, сошел с ума и все поддевал на лопату землю и засыпал яму, поддевал и сбрасывал, весело так, споро... пока солдат не шибанул его прикладом в затылок и он не полетел с края ямы вниз... И тогда *она* — мы ведь договорились? — *она* рванулась к деревьям, пробежала метров пятьдесят и ощутила сильный удар... упала... но какой-то тенью сознания — а может, это потом всплыло... слышала, как ее волокут за ноги по земле, бросают на что-то мягкое, теплое и влажное, что шевелится и стонет... И затем на *нее* обрушилась тьма...

Внезапно оборвались все звуки: умолк хорал, прекратился ливень снаружи... даже из кухни не доносилось звяканье посуды... Несколько мгновений тишина висела под сводами полуподвала, как бы раздумывая, во что перелиться; так струя вина пробирается по узкому горлу кувшина, чтобы хлынуть в бокал.



И через минуту с улицы хлынули чьи-то голоса, вкатились в калитку, заполонили двор грузинской речью... Им сверху торопливо и радостно отвечала Манана, голосом будто поднимая гостей, зазывая на террасу и в большой светлый зал наверху...

И там уже, внутри, голоса зазвучали раскатисто, звонко, с трехголосным смехом... И сразу же у нас, внизу, мечтательно и тревожно отозвался трехголосием хорал...

Везло нам сегодня — вернее, мне. Очень мне сегодня везло. Я не могла взять в толк — как это никто, кроме нас, не заглянет в это уютное логово, в мягкую полутьму полуподвала, где ласково белеют грубые деревенские скатерти на столах и вновь расцвел виноградник в Эдеме... Наткнулась взглядом на свой бокал с вином и разом все выпила.

— ...Вот о том, как *она* выбиралась из-под тел, разгребала землю одной рукой — другая онемела, пуля задела плечо... — о том, как бесконечно медленно *она* выползала, выплевывая комки глины и песка, задыхаясь, высмаркивая с кровью ледяной ночной ужас... как выпрастывалась из могилы, будто новорожденный из чрева... — об этом я никому

никогда, кроме Адама, не рассказывала. И вам не расскажу... Но *она* выползла, долго сидела на краю ямы, баюкая раненую руку, и колыбельной для *нее* были вздохи этой могилы — та еще шевелилась, волновалась и, кажется, очень жалела, что отпустила добычу... Наконец, *она* поднялась и побрела лесом в сторону соседнего села... Шла до рассвета, наконец дошла... но на околице ее засек патруль — проклятая белая рубашка, хоть и была запятнана кровью и землей, но не вся — выдала в темноте. Крики, выстрелы... она забежала в какой-то сарай — он оказался хлевом — и зарылась в огромную кучу соломы в дальнем углу, у стены. Может, это была... как это? силосная яма... не знаю... Еще минута, две... ее должны были схватить, ведь они видели, куда девчонка забежала... Но произошло чудо. Огромный боров, — он лежал неподвижно у другой стены сарая, нехотя поднялся и так вразвалочку потрусил к ней... подошел и... улегся сверху, накрыв ее своим телом... Через минуту они вбежали — сиплое дыхание, крики, безостановочная тупая матерщина... Стали перерывать штыками всю солому в хлеву, пришли в ужасную ярость... Если б ее нащупали, то, конечно, убили бы, перед тем превратив в раскатанную по полу тряпку... Но боров лежал на

боку, не двинувшись ни на пядь... а эти звери в человеческом облике оказались гораздо тупее, чем животное...

Наконец, они выбежали из сарая, решив, что *она* выскользнула в темноте наружу... И в то же мгновение боров тяжело поднялся и вернулся на старое место...

— Поразительно! — вскричала я, смахнув нож со стола. Испуганная моим выкриком или резким движением, кошка метнулась вдоль окна во двор.

— Это был мой личный Праведник Мира, — сказала Мирьям. — И с тех пор я никогда не ем свинины. Где бы ни оказалась, чем бы меня ни потчевали — я не притронусь к свинине. Обычно люди понятливо кивают — да-да, традиции, кашрут... Я отвечаю им: плевала я на ваш кашрут!.. Я давно уже не хорошая девочка, я плюю на кашрут, на традиции и любые идиотские приличия! Просто не ем свинины. Точка.

Снова слышались во дворе оживленные голоса, мелькнул в проеме двери бежевый плащ, и вошла пара, он лет пятидесяти, она — гораздо моложе, я узнала в них актеров театра «Гешер». Они остановились на пороге, вглядываясь в полумрак, и актриса проговорила:

— Вон туда, в уголок!

Но тут за их спинами возникла Манана, как всегда, гостеприимная и сердечная.

— Может, хотите в верхний зал? — предложила она. — Мы там недавно ремонт закончили, кондиционер поставили... Здесь сыровато в дождь...

И гости переглянулись и поднялись в верхний зал...

— Опять пронесло, — сказала Мирьям. — Кондиционер в такой холодный день — действительно, великое благо...

Мы замолчали.

Во дворе, как это бывает в горах, стремительно угасал скудный свет февральского дня, буквально за пять минут проведив стадии сиреневого, лилового, чернильного; наконец, завис над единственным фонарем дымчатым ореолом, повторив тот же электрический круг на мокром камне двора...

Виноградник с единственной изюмной кистью, терраса, мелькающая там и тут кошка освещены

были только этим фонарем и светом из окон верхнего отремонтированного зала...

— Раньше я лишь читала о подобных историях счастливого избавления, — пробормотала я, — и всегда думала, что во многом это — литература...

— История... *счастливого* избавления?! — повторила она и захохотала. Было что-то откровенно презрительное и страшноватое и в том, как она это сказала, и в том, как отрывисто и сухо рассмеялась. — А закажите-ка, пани, еще чего-нибудь выпить... — проговорила она, отсмеявшись. — Только это я угощаю вас, договорились? — Обернулась к узкому проему в кухню и позвала: — Послушайте... Будьте любезны! — Когда показалась Ольга, спросила: — У вас есть что-нибудь покрепче? Коньяк, виски, бренди? Водка, в конце концов!

— Есть коньяк... — с готовностью отозвалась та, но как-то опасливо на меня покосилась. — Сколько принести?

— Грамм по пятьдесят? — спросила я Мирьям, и та без улыбки ответила:

— Для начала...

Через минуту нам принесли две рюмки на подносе.

Я-то помнила, что я за рулем, но подумала — пусть на столе стоит, для симметрии...

— Вот вы сказали, — вдруг заговорила она возбужденно, —  
«история счастливого избавления»... Ну да, конечно... В конце концов, пробить в могиле пару часов... что тут особенного...

И подалась ко мне через стол, тюкнула своей рюмкой об мою:

— Тогда выпьем — черт с ним, за это тоже, разумеется, надо выпить... — Опрокинула махом в рот все, что было в рюмке. — Но я в могиле не два часа... — проговорила она, глядя блестящими глазами, — я в могиле два года провела!

Ну-у, поехали, подумала я... Как-то непохоже, чтоб пила она, бедняга, без особого ущерба «госдепартаменту».

— Мирьям... — проговорила я осторожно...

— Ладно! — воскликнула она. — Мы отвлеклись!  
Крутим дальше это кино! — И ударила

ладонью по столу — Это всего лишь кино, как мы и договорились... Рассказчик должен быть отчужден... На чем я остановилась?... Да! Она, *она*, я говорю, провалялась в хлеву до следующей ночи... Плечо болело ужасно, рука опухла и онемела, голод, как живое существо, пожирал ее изнутри...

Раза два в сарай кто-то заходил, и всякий раз за минуту до того, как раздавался скрип двери, боров поднимался и, тяжело вздыхая, словно исполнял какую-то принудительную обязанность, направлялся к вороху соломы и прятал ее, накрывал своим телом...

Ночью *она* выбралась из хлева и постучала в дверь крайней хаты. Ей уже было все равно; она не знала, зачем стучит ночью в чужую дверь. В лучшем случае ее бы прогнали, а могли и немцам сдать... Ведь вы знаете, наверное, что за выдачу еврея местное население получало от немцев вознаграждение? Продуктами, вещами... Сдавали очень многие... Но ей было уже все равно, она просто умирала от боли, голода, слабости, потери крови... Ну, и постучала... Минут через десять дверь приоткрылась... Можно представить ужас хозяйки: на пороге стояла совершенно седая, бледная, как мертвец из

могилы, девушка в кровавой рубахе... Хозяйка отшатнулась, вскрикнула: «Уходи, уходи!» — и захлопнула дверь. Все поняла... Уж очень громко были накануне *те*, на поляне... И выстрелы, конечно... Но когда *она* сползла с крыльца и легла прямо в траву у поленницы, потому что совсем не было сил и болела рука... *она* услышала, что дверь опять отворилась, шепотом переговариваясь, вышли двое, подхватили ее подмышки и волоком втащили в дом...

Я даже не заметила, когда выпила свою порцию коньяка. Должно быть, машинально. У меня тяжело и медленно стучал в висках пульс, и замирало сердце.

К тому же я начала покашливать от ее непрерывного курения.

А она как назло опять потянулась к пачке, достала и закурила новую сигарету, последнюю... Повертела пустую пачку и отбросила на стол...

— А теперь пусть та милая девушка принесет еще выпить!

— Не надо! — сказала я. — Послушайте... Не стоит...



Она удивленно взглянула на меня, сощурилась, на лице ее переплелись морщины.

— Вы, кажется, решили, что я алкоголичка? — спросила она приветливым тоном. Улыбнулась. — Ну хорошо... Так и быть, едем дальше без горючего и без смазки мотора...

И замолчала, как будто забыла, про что рассказывала, забыла, где она, каким путем сюда попала... Несколько мгновений, подняв голову седого стриженного мальчика, озиралась в полутьме, будто проверяла — не сидит ли там, в углу, воскресший Пабло... А иначе — откуда идут эти звуки...

— Да, — наконец проговорила она, — вы правы, конечно... Счастливое избавление, именно так. Ведь они могли меня сдать, но не сдали. В тот раз не сдали. Страшно рисковали, между прочим... У них было трое малолетних детей, старик-отец, лежащий, парализованный... Да... Не сдали в тот раз. Промыли рану, перевязали — у хозяина, по счастью, были какие-то навыки, он помогал ветеринару... даже накормили, чем было... и Семен — так хозяина звали — пошел в сарай и вернулся с лопатой... И... стал копать. Новую могилу. Для меня.

— Как?! — тупо спросила я.

— А вот так, — просто и спокойно ответила она. — Некуда было меня девать, понимаете? В любой момент кто угодно мог войти — соседи, родные. У них свояк в полицаях служил! Да и от детей надо было скрыть, чтобы не проболтались... Так что Семен выкопал яму рядом с печью. В ней можно было сидеть, согнувшись. Поверху клали доски, на них — цветастый половичок, а на него — ведерко с углем. Я, к счастью, маленькая была, хрупкая, как ребенок. Много места не занимала... — Мирьям тряхнула головой, странная гримаса — от боли или от смеха — снова съежила ее лицо. — Так что... как у нас там обстоит дело с эпическим зачином? — и сидела *она* так два года в могиле... Ночью только выпускали — по нужде и поесть чего-нибудь... Все остальное время надо было терпеть до потери сознания. Никто ведь не думал, что это *счастливое* *избавление* настолько затянется... Надо было переправить ее куда-нибудь, да как-то не получалось. Вот и сидела... Черви по *ней* ползали, ну, все как полагается. В могиле как в могиле. За эти два года у *нее* выпали волосы, сошли ногти на руках, глаза гноились, *она* ведь света не видала совсем... а помирать никак не хотела... — Мирьям горько

хмыкнула. — Упрямо не хотела благодетелям подарить Счастливого Избавление...

Я рывком поднялась, вышла во двор, и некоторое время стояла под сплетением истощенных виноградных ветвей в круге желтого света, шумно вдыхая и выдыхая иерусалимский воздух с холодным дождем вперемешку — бурно, до слез выкашливая дым...

«Ты виноградник, — доносился из полутьмы звенящий голос Васо, — ты виноградник, что вновь расцвел... Благоуханный плод, возвращенный в Эдеме...»

Сверху, облокотясь на перила террасы, за мной наблюдала смутная Манана.

Я улыбнулась ей в темноте.

...По пути назад заглянула в кухню. Ближе к вечеру, к урожайному времени, явилась еще одна официантка, Наташа. Странно, что все посетители шли напрямиком наверх, во второй зал, а у нас внизу так никто и не появился... Я постояла в дверях, дожидаясь, пока Ольга поднимет на меня глаза, и сказала:

— Еще два по пятьдесят принеси, ладно?

Та кивнула.

Мирьям безучастно слушала грузинский хорал.

— Хорошая это штука... — проговорила она, когда я рухнула на стул. — На меня, глухаря, действует, как наркоз...

Появилась Ольга с двумя новыми рюмками коньяка.

— Вы хотите спить меня? — улыбнулась Мирьям. — Или сами хотите наклюкаться?

— Так они вас все-таки сдали? — отрывисто спросила я.

Она улыбнулась, покачала головой.

— Не надо так... — проговорила мягко. — Они не виноваты... Ну, посудите сами: сколько можно было меня держать? Я никак не умирала, выпустить меня в таком виде — лысый скелет — натурально, было опасно... Они пригласили свояка, поставили ему угощение, повинились... Обсудили — как лучше это дело *сгладить*... И ночью он вывез меня на телеге, просто подкинул к воротам лагеря.

Опустив голову, Мирьям переставляла на скатерти несколько предметов: зажигалку, пустую

пачку из-под сигарет и пудреницу, в которую, видимо, смотрелась, пока меня не было... Выстраивала их в ряд, потом меняла местами... словно пасьянс раскладывала...

— Вот вы удивились, что люди, которые два года, страшно рискуя, прятали полумертвую девочку, в конце концов выкинули ее на улицу... Да, признаться, и меня это мучило много лет. Возможно, чтобы разобраться во всем этом, я пошла учить психологию в Беркли... В конце концов поняла... Видите ли, милосердие и страх, добро и жестокость не распределены между разными людьми, а соседствуют в каждом человеке. И всякое чувство не бесконечно... Они устали от своего милосердия, эти обычные люди, которые все-таки спасли же меня, спасли! Довольно того, что за меня они не получили вознаграждения, а наоборот, только кормили — пусть скудно, ужасно, но — кормили! Могли убить, закопать где-нибудь ночью... но не сделали этого... Знаете, человека надо жалеть и никогда не взваливать на него непосильную нравственную ношу...

— Пойдите! — оборвала я. — Мне плевать на причины, по которым выбрасывают человека на

явную гибель... Дальше, что было дальше — он оставил вас у ворот лагеря... и?..

— Он торопясь, пока не засек патруль, вывалил меня с телеги в траву. Я ж доходила от истощения... И вот это было счастьем — просто лежать в траве, не скрюченной, а вытянувши ноги. Счастье, потому что скоро наступило утро. Впервые за два года наступило утро... Понимаете?

— Но ведь вас могли убить! — крикнула я.

— Могли... — согласилась она. — Ну, так убили бы... Подумаешь! Вы представить себе не можете, сколько раз за те два могильных года я жалела, что выползла из ямы! Дура, дура проклятая, говорила я себе, давно бы *лежала спокойно*, как все... Но самое-то интересное в том, что как раз там, в лагере, я и встретила свое Счастливое Избавление... Один из пленных, американец итальянского происхождения, врач... Бассо его звали... Он выуживал из помоев офицерской кухни яичную скорлупу, толлок ее на нарах круглым камнем и заставлял меня есть... Ведь это кальций, понимаете? Толченая скорлупа противно скрипела на зубах, но очень быстро у меня отросли волосы, ногти... Великий Кальций!. А когда лагерь освободили и стало ясно, что мы

живы, Бассо добыл для меня через американцев документы и увез с собой в Штаты... Там мы поженились, а еще через пять лет расстались, так вышло... Никто не виноват, просто я его не любила. Он был мой друг, мой спаситель... но брак на этом не держится. Нужна любовь. Нужна такая влага души, чтоб всхлипывала, дрожала, наполнялась до краев... А я высохла... И никого не любила... кроме Адама...

— Почему же вы его не искали?

— Где? Кто мог представить себе его путь — все поиски мне представлялись бессмысленными. Просто я знала, что он где-то жив. Хотя сто, двести, тысячу раз мог погибнуть... Но почему-то я была уверена, что он жив, и с этим жила сама...

Она подняла голову и посмотрела в окно, откуда просматривался двор и фонарь со светящимся ореолом... Я видела, что она сильно устала, измучена своим рассказом... Что жестоко ее спрашивать о чем-то еще... И надо наконец оставить ее в покое... Довольно! Сейчас рассчитаюсь и провожу ее до отеля.

— А вот теперь расскажите, как вы его встретили, — попросила я.

Она вдруг улыбнулась, провела ладонью по серебристому ежику на голове. Я представила, как прямо и красиво была посажена эта голова в юности, если даже сейчас в повороте ее сквозит некое изящество.

— Тогда... — проговорила она медленно, — самое время выпить... за международный конгресс биологов! Сан-Франциско! Семьдесят первый год!.. — Она опрокинула в рот янтарного цвета жидкость... выждала несколько мгновений, лаская ее во рту... проглотила и сказала просто, обыденно: — Я работала там переводчиком... Потом много раз (я заставляла его снова и снова) Адам рассказывал так: он стоял за кафедрой, читал доклад и вдруг увидел женщину, которая напомнила ему его первую любовь Горло у него перехватило, он еле договорил до конца. Может быть, какая-то дальняя родственница? — думал он, а в перерыве подошел к ней и сказал: «Простите, пожалуйста, не сочтите за навязчивость, но, может статься... дело в том, что ваше лицо мне очень напомнило...»

«Адам, это я...» — сказала она.

«Что!!! — крикнул он. — Я искал тебя, мне сказали, что все расстреляны!..»



«Да, — сказала она, — это чистая правда. Меня убили. Но я выползла из ямы...»

— К тому времени я была настоящей американкой, — продолжала Мирьям. — Он — израильтянином до последней жилочки, это ведь особые люди, пронизанные своей страной насквозь, как лесная почва корнями, неважно — любят они ее или не очень... Лет пять, как он похоронил жену. Я давно была свободна... Мы поженились... И прожили вместе двадцать один год. На две страны жили: полгода в Америке, полгода в Израиле...

Она задумчиво повертела в пальцах пустую рюмку, отставила в сторону... подняла на меня глаза:

— Иногда бывало тяжело... Он прожил без меня целую жизнь, много перенес такого, о чем вообще никогда не говорил. Конечно, это был совсем не тот мальчик, которого я так любила когда-то... Но... если становилось особенно тяжело, я входила в ванную, глядела в зеркало и говорила себе: «Ты понимаешь, что ты нашла Адама?!»

Я боялась спрашивать о дальнейшем. Мне хотелось бы, чтобы ее рассказ на этом остановился. Вот они встретились и живут вместе.

Встретились и живут, долго и счастливо. Или, может, не очень счастливо, потому что каждого по ночам терзает его жизнь... Но все же они живут вместе — Адам и Мирьям...

— Потом он уехал на симпозиум в Берлин и там скоропостижно умер, — быстро и бесстрастно проговорила она. — Я осталась дома в Сан-Франциско и не поехала в Израиль на похороны. Друзья и родные были возмущены, с полгода Гиди, его сын, не отвечал на мои письма и бросал телефонную трубку, если я звонила... Но однажды, когда у нас обоих прошла первая боль, я все объяснила ему: «Я прожила без него полжизни, — сказала, — зная, что он где-то жив. Хочу и дальше думать, что он жив и просто ушел к другой женщине. Так мне легче, понимаешь?..»

Она сморщилась и стала массировать виски.

— Голова разболелась... Чертова погода, чертов дождь... Сколько мы здесь уже сидим? — И впервые взглянула на часы. — О боже, кучу времени я у вас отняла! Вы на меня полдня угробили!

— Напротив, — возразила я, делая знак Ольге — рассчитаться: легкое движение пишущей в

воздухе руки. — Напротив, я работала, как каторжная.

— А я такая эгоистка! Даже не спросила, чем вы занимаетесь, кто вы...

— Какая разница, — отозвалась я. — Странствующий собиратель историй.

Уже надев полусырое пальто (все-таки здесь действительно было прохладно), Мирьям еще раз оглядела комнату...

— Вот, побывала в гостях у Пабло... — сказала она, удивленно подняв нарисованные брови. — Кто бы мог подумать! В последний раз Адам играл здесь на виоле да гамба... Представляете? Пабло чуть в обморок ни упал. Не верил, что тот впервые взял в руки этот инструмент... А звук у виолы такой... эротичный — унисон тела и души... или, если хотите, Эроса и Танатоса...

На пороге обернулась еще раз, помахала рукой и весело крикнула:

— Прощай, Пабло, старый хрен! — и вышла.

У калитки меня перехватила Манана с зонтом, давно уже сухим... Придержала за локоть.

— Это был тяжелый разговор, да? — тихо спросила она. — Я сразу поняла! Стояла здесь и всех от вас отгоняла! Я их всех отогнала наверх, да?

Я молча поцеловала ее в щеку и пошла вслед за Мирьям.

Дождь прекратился, хотя небо бурлило темными клубами, что неслись и неслись куда-то в сторону Масличной горы, и дальше, за перевал, к Мертвому морю...

В любую минуту дождь мог припустить с новой силой.

— Я провожу вас до отеля, — сказала я.

— Нет-нет, ни в коем случае! - Она опять улыбнулась немного клоунской своей улыбкой: морщинистый седой мальчик, если без шляпки. Шляпку держала в руке, та не успела высохнуть. —

Наоборот, это я провожу вас к авто и помогу вывести его со стоянки...

Взглянула на мое смущенное  
благодарностью лицо и с жаром  
воскликнула:

– Вы будете легко, азартно водить,  
помяните мое слово! В вас робости нет.  
Первый день за рулём – и наклюкалась,  
как свинья! Вы замечательно будете  
водить!